



18+

Оксана
Васякина

СТЕПЬ

Оксана Васякина

Степь

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67693137

Степь. Роман: Новое литературное обозрение; Москва; 2022

ISBN 978-5-4448-2005-6

Аннотация

Спустя десять лет после развода родителей дочь встречает отца-дальнбойщика и едет с ним по центральной России и южным регионам.

«Степь» – новый роман Оксаны Васякиной, составляющий дилогию вместе с дебютной «Раной»: первая книга – о прощании дочери с умершей матерью; вторая – об отношениях с отцом. Возвращаясь мыслями в кабину грузовика, мчащегося через степь, героиня размышляет о мужчинах, чья молодость пришлась на 1980–1990-е годы; о болезнях, от которых многие из них молча умирают; о том, как время выдохнуло отца, оставив на холодном ветру будущего; о России, не знающей, что делать с собственной историей.

Оксана Васякина – писательница, лауреатка премий «Лицей» (2019) и «НОС» (2021).

Содержание

1	5
2	16
3	23
4	35
5	42
6	51
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Оксана Васякина

Степь. Роман

*Привязав себя к жерлам турецких пушек,
степь отряхивается от вериг,
взвешивает курганы и обрушивает,
впотьмах выкорчевывает язык
и петлю затягивает потуже,
по которой тащится грузовик.*

Алексей Парщиков. Степь

Кажущееся молчание степи – это ее голос...
Вера Хлебникова

*Т о р с. – Лишь тот, кто привык относиться
к собственному прошлому как к отродью,
порожденному нуждой и бедствиями, способен
в любой момент извлечь из него самое ценное.
Ибо прожитое можно в лучшем случае сравнить
с прекрасной статуей, которая потеряла при
перевозке все члены и теперь представляет собой не
более чем ценный блок, из которого ему надлежит
высечь облик будущего.*

**Вальтер Беньямин. Улица с односторонним
движением**

1

Я видела степь из окна самолета. Знаешь, на что она похожа? Степь похожа на жилистый кусок пожелтевшего мяса. Темно-рыжие линии, как тяжелые змеи, исполосовали пески, серые реки исполосовали пески. Степь – это не пустыня, в ней видна жизнь. Травы серые и голубые. Стрекошущие насекомые, холодные ужи, шахматки шустрые в дельте Волги.

Я думала, что степь похожа на мягкий живот. Из окна отцовской фуры было видно, как она лежала и ворочалась крохотными возвышенностями. Степь – это песок, прорезанный травами и маленькими белесыми цветами. Нельзя свернуть с бетонированной дороги, говорил отец, только двинешь вправо или влево – колеса завязнут, и тебе конец. Когда едешь груженный, вообще лучше не делать лишних движений, особенно если твой груз – стальная труба: ты тяжелый, скорость набираешь быстро, а сбавляя, еще долго идешь по инерции и не остановиться.

Так, груженный трубой, он шел на Волгоград под утро. Утро в степи ослепительное, розовое. Все пространство сразу заливают свет, потому что нет ему преграды в степи. Утомленный за ночь, он начал подремывать, машина шла по ровной дороге, и сон, как большая теплая ладонь, накрыл его. Накрыл и толкнул, он проснулся от скрежета и воя. Машина еще шла, но медленно. Он посмотрел в зеркало заднего ви-

да, на дороге лежала большая железная лепешка бело-синего цвета. Два пьяных гаишника ехали с ночного гулянья и на скорости под двести километров в час вылетели на встречу. На пустой утренней дороге по встрече шел МАЗ, груженный трубой, а в кабине спал мой отец. Маленький шустрый Mercedes зашел под фуру и, немного толкнув ее в пузо, весь сжался, раздавив внутри себя два размякших от пьянства и сна мужских тела.

Отцу за это ничего не было, потому что было понятно: только Mercedes мог позволить себе такой маневр. Отец был уже почти глухой, и скрежет металла сквозь сон не показался ему страшным. Вот теперь я вам за всех отомстил, просто-душно говорил отец. Смерть гаишников от его МАЗа казалась ему справедливой. Отец не чувствовал своей вины, да ее и не было: даже если бы он затормозил, то по инерции шел бы еще какое-то время, а свернуть ему было некуда. На место приехали другие гаишники, они развели руками – несчастный случай. Проверили его документы и накладные на трубу. С сожалением отметили, что, проснись отец на полчаса позже, не встретил бы их на дороге. Mercedes вошел под него как раз за пару километров до поворота на поселок, куда те ехали ночевать. Отец хмыкнул и подумал, что не повезло им, потому что он спать не лег, а еще потому, что они – козлы.

Когда везешь кур, то едешь под непрестанное кудахтанье. Их так и загружают под тент – ставят одну на другую плос-

кие клетки. В дороге птицы гибнут и тухнут на жаре. Весь нижний слой клеток достают, а там обмякшие рыжие и белые тушки, все мертвые или вот-вот издохнут: пол кузова в темных вонючих пятнах и бело-сером помете. После арбуза тоже тяжело, на кочках арбуз трескается и течет. Потом киснет, воняет. После таких грузов надо брать метлу и тщательно выметать мокрый дощатый пол, потом водой под сильным напором выгнать вьевшиеся соки помета, крови и ягодного волокнистого мяса. Отец любил везти трубу. Он говорил, что труба не умирает и не портится. Взял – вези, встал – охранять не надо, никто у тебя ее не утащит, она же тяжелая. Один раз у него угнали фуру с трубой, но я тебе потом про это расскажу.

Раньше степь была садом. Люди построили оросительные системы и выращивали в степи все, что им хотелось: в степи много солнца и они снимали за лето по три урожая. Алые мясистые помидоры «бычье сердце», рыжие тыквы, огурцы и хлеб. Все это было в степи. Сейчас посмотришь, и кажется, это одна сплошная солончаковая пустошь с голубыми облачками верблюжьих колючек. Но это не так: если степи дать воду, она на многое способна.

Потом люди ушли. Ну как ушли... Люди перестали заниматься этой землей. Настало другое время. Совхозы распались, как распадается луковая шелуха. Но трубы от оросительных систем остались. Они стали ничьими. Они остались,

как простые вещи, схороненные в песке и степных травах

Ты спрашиваешь, как брали трубу, а вот так и брали, воровали. Земля теперь ничья, и на ней ничего не растет, только труба в ней портится. Мелкие бизнесмены вызывают фуру через диспетчера, фура подходит к полю, там по периметру эскалатор с краном достает трубы из песка. Грузят и отправляют в Москву, чтобы через Москву продать в Астрахань. Отец так однажды привез груз на базу в Москве, недалеко от Каширки. Стоял пару дней, ждал, пока скажут, куда грузить. Ему позвонили с утра, сказали, вези обратно, на Волгоград. Бумаги перепечатали, поставили наценку в накладной и отправили его обратно. Туда, где эту трубу выкопали. Так из ничего и из неутомимого движения туда-сюда делаются деньги. Однажды я спросила отца, не страшно ли ему вот так бессмысленно везти трубу в Москву, чтобы потом ее же вернуть обратно. Он ответил, нет, не страшно, главное, чтобы деньги платили.

Диспетчерша Раиса позвонила отцу: сказала, что будет труба. Мы приехали на место под Капустиным Яром. Встали посреди степи. А они не приехали ни завтра, ни послезавтра не приехали. Но позвонили и обещали приехать через два дня: что-то там было у них с техникой, то ли сломалась, то ли не успели украсть. Тогда мы поехали до ближайшего рынка. Купили водку, блок сигарет, несколько банок сгущенки, тушенку, две буханки ржаного хлеба и немного пива. Пиво,

пока оно было холодным, я выпила по пути до стоянки.

Я сразу спросила отца, сколько нам ждать. Он не знал, сколько ждать. Никто не знал, сколько ждать. Все зависело от случайности, и время от этого становилось большим, неуправляемым и при этом совершенно необязательным. Ждать стало интереснее. Я съела всю корку от хлеба, вымакав ее в сгущенке. Потом на горелке сварила макароны. Степь раскрыта, и ты в ней как будто голая. Серая фура стояла посреди поросшей верблюжьей колючкой и полынью равнины, и мы жили в этой фуре пять дней, пока нам не пригнали кран, чтобы грузить трубу.

Ждать в этом мире, мире простертого серого пространства, означало торопить события, навязывать им свою волю. *Ждать* было чем-то запретным. Необходимо было просто жить. Проживать каждую минуту, прием пищи и отправление нужды. Спокойно и с вниманием прожевывать простую еду, курить потрескивающий от накопившейся за ночь влаги синий Winston. Все делать со вкусом. Жизнь коротка, сказал отец, только из пизды вылетел, а уже в гроб метишь.

В первый же день я выпрыгнула из кабины и пошла в сторону от дороги к горизонту. Шла, чтобы фура пропала из виду, но она всегда была за спиной. Я шла и шла, а фура все не пропадала, потом я совсем устала и присела, сняв штаны. Струйка мочи покатила между сандалиями, собирая в себя крохотные осколки мертвых трав и белую мучнистую пыль.

Небо вечером в степи нежное, иногда сизое, а бывает розовым, как язык. По такому светлому небу как полотна растянуты белые длинные облака. Ветра нет, и все застывает, время не идет, и облака останавливаются над землей. Медленно темнеет, и только темнота показывает, как что-то меняется здесь, в степи.

Я возвращалась, и фура становилась все больше. Потом я уже не ходила в степь, а просто отходила за колесо в то место, где отцу не видно, и писала.

В степи все погибает от скуки. Мы ели разваренные белые макароны-ракушки и пили водку. Стояла жара, и на жаре я не становилась пьяной, а становилась дурной и молчаливой. Отец тоже был угрюмый от водки, а потом, поворчав, засыпал на своем засаленном лежаке.

Днем гул степи застилает яркий непреодолимый свет. Ты смотришь на этот простор и ничего, кроме изумления, чувствовать не можешь. Изумления оттого, что степь бесконечна и она все лезет, лезет тебе в глаза. И нет в ней места, где от нее самой укрыться днем, ее необходимо терпеть, сознавать и принимать такой – великой, немного сиротливой и однообразной.

Ночь в степи оглушительна. Она черная, и стрекот в ней стоит такой, что вонзается в твое тело тысячью игл. Спать в ней тяжело, она как будто вся набрасывается на тебя. Ноч-

ная степь – это войско лучников, направивших на тебя свои черные электрические стрелы.

Трава все шепчет, шепчет о страшной опасности, сверчки вопят, и ночная духота делает твоё тело осязаемым для тебя самой. Тебя словно кровью обливают в ночной степи, дурман от остывающей полыни и болиголова сливается с запахом твоего пота и других солоноватых выделений. В ночной степи ты знаешь своё тело на скудных истертых простынях. От этого страшно и мучительно болит голова. Ветер приносит запахи гари и дерьма. Степь наступает, и ты в кабине грузовой машины лежишь как голая, глядя в чёрное окно.

Насекомые в степи стрекочут, но их не видно. Птицы в степи пролетят, заигравшись, и исчезают в небе, в далекой тишине. В степи нет ничего, за что можно зацепиться глазу, в степи есть только даль. Иногда ветер принесет обрывок пластикового стаканчика, поднимешь его, и он рассыпается у тебя на ладони, как древний пергамент. В степи всё рассыпается и тлеет. Отец выбрасывал окурки и бутылки от дюшеса прямо из окна, я спросила, почему так, он ответил, что степь заберет. Степь всё забирала, и непонятно, куда оно всё девалось. Всё в ней рассыпалось и гибло, как если бы она была полем губительного звука, который на молекулярном уровне разрушает любой объект, который в неё попадает.

Отец любил степь. Наверное, потому, что она вся была

безответным пространством. Она не прекращалась, и любую опасность можно было приметить издалека. В степи жили мелкие ужики и гадюки, но они боялись шума и не показывались. Иногда по степи шел комок перекасти-поля. На ветру его движения казались немного животными, и сам он казался дышащим телом. Но комок был мертвый, хотя и сеял в своем движении белое сухое семя.

Знаешь, у отца не было ничего кроме степи, которую он понимал, как свой дом, он степь любил за простор. У него своего не было ничего. Место в гараже хранить фуру было не его, а так, чье-то. Чтобы его занять, он брал маленький исцарапанный Samsung и сначала куда-то писал эсэмэски. Знак пробела в SMS он ставить не умел, как не умел менять и строчную на прописную. Поэтому все его эсэмэски были с маленькой буквы через точку. Как велосипедная цепь. Когда ему не отвечали, он звонил, чтобы спросить, свободно ли место на стоянке. Ему не отказывали никогда, и он закатывал свой МАЗ на стоянку, чтобы почистить салон и отремонтировать. Ремонтировать всегда было что, в этом уж не сомневайся.

МАЗ тоже был не его. Он его взял у кого-то поездить, заработать денег. Чтобы купить свою машину, нужно было много денег, а они у него не держались. Он любил этот простор за то, что на него не нужно было тратить, чтобы иметь его у себя и видеть его бесконечно. Простор был просто так,

и отец искренне не понимал, как мир может быть настолько скуп к нему.

Ходили слухи, что скоро установят систему «Платон» и тогда придется платить не только диспетчерше, но и государству. За что платить-то, спрашивал отец. Говорят, они на эти деньги починят дороги, говорят, что мы их своими грузами разрушаем. Но на что дороги есть, спрашивал он. Они на то и есть, чтобы по ним ездили. А дорога, она чья, она государственная, а следовательно, принадлежит человеку, водителю и дальнобойщику. Я плачу Раисе и числюсь в дальнобойной конторе, там с меня взимают налог. С чего тогда я должен платить еще за дороги? Мы вот въедем в Волгоградскую область, посмотришь, какие у них там дороги. Волгоград я называю Козлоград, потому что там злые менты и дороги там не ремонтируют, а так – тят-ляп и готово. А если я по этому тят-ляп проеду на своем Братане? Конец ремонту. Потому что все нужно делать по уму и надолго. А не как эти козлы. Въезжая в Волгоградскую область, он начинал громко материться. Я на собственной заднице чувствовала разницу: дорога была настолько плохая, что отец останавливался каждые семьдесят километров, чтобы отдохнуть от тряски. От тряски не хотелось есть, а курить во время такой езды было совсем противно. Но мы все равно курили одну за одной. Не для удовольствия, а от скуки и бессилия перед волгоградской дорогой.

В гараже мужики говорили, что дальнобойная реформа не только обяжет его платить по полтора рубля за километр. К ней привяжут системы слежения за отдыхом и работой водителей. С помощью этого устройства за отцом будут следить: сколько он едет, а сколько отдыхает. При переработке эта система будет автоматически взимать штраф. Я ведь частник, говорил отец. Мне отдыхать некогда, нет оклада, как у магнитовских мужиков. Вон магнитовские едут на немецких MANах, когда надо – спят, когда надо – едят и срут. У них там камера-регистратор стоит в кабине. Они как кролики, все делают по расписанию. И делают, я тебе скажу, неторопливо. Они спят – контора платит. Мне спать нельзя, говорил он. Мой час сна дорого стоит. Меньше посплю, дольше проеду, а значит – быстрее привезу и уже можно обратно собираться. Звонить Раисе, спрашивать, что у них там по грузам есть. Почему я, свободный человек, должен ехать тогда, когда мне сказали ехать, и не ехать, когда мне сказали не ехать.

Он был не жадный, денег ему было не жалко ни на что. Он просто не умел с ними обращаться. А за МАЗ он раз в месяц давал кому-то тысяч пятнадцать или двадцать, еще на столько же его ремонтировал и мыл. У него и документов не было на этот МАЗ. Как и на «Ладу-девятку» у него не было документов. Он просто взял машину у какого-то знакомого и раз в месяц давал ему поездить и немного денег.

Однажды, по дороге с трех рейсов домой он положил весь

свой заработок под чехол пассажирского сиденья и опустил оба окна. Была середина весны. Знаешь, как цветет степь весной? Полынь вдохнешь, и тебе конец, ты уже вдыхаешь в себя степь. Еще этот розовый кустарник, у него мелкие цветы, как острова розовой дымки цветут. Вдохнешь этот запах, не то чтобы почувствуешь волю, но почувствуешь, как будто тоску вдыхаешь. Грустное сиротство. Он открыл все окна в кабине, чтобы вдыхать степь, чтобы чувствовать это сиротство. Включил магнитолу, дискового проигрывателя у него так и не было, нашел в бардачке кассету «Золотые хиты Михаила Круга». Включил ее и ехал по своей воле. Ехал и пел... не то чтобы пел, но подвывал радостно. А потом боковым зрением увидел, как рыжеватые птицы выпархивают из его окна. Это степь вырывала из-под чехла пассажирского сиденья его заработок. Где потом искать эти пятитысячные, степь их себе забрала.

Я сказала тебе, что степь из окна самолета похожа на мягкий живот. На деле же она твердый, спрессованный ветром бежевый песок. Она тяжелая. Смотришь на нее из окна: кажется приветливой, попросишь ее – спрячь меня за бугром в своей белой траве, и она поманит тебя складкой своего живота. Ты будешь долго идти к бугру, и окажется, что он плоский и твердый и нет за ним места, где спрятаться.

Пластиковая лента от магнитофонной кассеты зацепилась за острую крепкую травку и свистит на ветру. Она уже вся голубая, выгорела на солнце, и травка кивает под ветром. Кивает по-человечески, обреченно. Все здесь двигается и идет куда-то. Ветром гонит облака, ветер тащит обрубок пластиковой бутылки. Кто-то этот обрубок использовал как черпак. Он тащится, тащится, и слышно бесконечный шелест всего, что здесь есть вокруг. Шелест к тебе обращается, но тебя он не слышит. Тебе страшно от слепоты жестокой южной природы. Но ты не бойся.

Почему я думала, что степь – приветливый мягкий живот? Мы ехали двое суток из Астрахани в Москву. У отца был рейс, он шел порожняком, чтобы из Москвы привезти *курей*. Шли налегке, но машина, не знавшая легкости, почему-то сопротивлялась нашему веселому движению. Братан, так отец называл своего тягача, глех, и внутри него что-то

постукивало.

Должны были ехать сутки, но ехали двое. Он вез меня и мою любовницу Лизу. Лиза была маленькой женщиной, и поэтому ее посадили в спальник, а когда проезжали пост ГИБДД, то мы ее прятали за шторку. Как будто едем вдвоем. Потому что втроем ехать на МАЗе нельзя.

Лиза ехала поступать в Школу современного искусства, но попросила оставить ее, не доезжая до Москвы, в Ульяновске. Там ее ждал кто-то другой. Я ехала учиться в Литературном институте. На этом пути должна была быть гордость, но была одна скомканная неловкость.

Отец любил Максима Горького. И в честь Горького был назван институт, в который я ехала учиться литературному мастерству. Отец говорил, что Горький был босяком, как все, кто его окружал и как сам отец. Мне от осознания себя босячкой было неловко. Было неловко за свою бедность и бесприютность. Было неловко и от простоты, с которой отец присваивал себе Горького. Он верил, что Горький был честный человек из низов, так оно и было. Горький был до старости нищим внутри себя и не умел обращаться с нажитым. Умел только раздавать. И отец был такой, он не умел жить на деньги. Он умел жить в дороге.

Ты спросишь, что это такое – жить в дороге. Отец говорил, что любой уважающий себя дальнобойщик может помыться полторашкой воды и парой капель средства для мытья посу-

ды. Больше всего он, конечно, любил Fairy. Травяная жидкость едко пахла и хорошо мылилась. Fairy он мыл себя, посуду и все, что требовало мытья в его машине. Это был его ограниченный скудный быт, а другого не было. Есть, пить, быть в меру чистым и быть в дороге.

Он ставил исцарапанную канистру на подножку своей фуры. Канистра была со стальным краником, чтобы воду зря не лить. Нужно было аккуратно поворачивать краник и использовать воду по капельке. Он тщательно намыливал руки и лицо Fairy, которое быстро превращалось в густую однородную пену: на его предплечьях она становилась сначала серой, а потом совсем черной от налипших на руки мазута и солянки.

В кабине у него была маленькая койка с желтым затасканным одеялом, там он спал во время рейсов. Спальник был двойной, как в плацкарте, подразумевалось, что дальнобой должен ехать со сменщиком для веселья и помощи. Он вставал у зарослей лоха на стоянке для фур, заправлял выцветшие бязевые занавески из старых простыней и спал. Ставить фуру нужно было так, чтобы справа и слева стояли другие машины. Иначе ночью приедет магнитовский рефрижератор, и никакого сна, одни мучения. Он пропускал те стоянки, на которых стояли фуры-холодильники. Тарахтит, гад, говорил отец, сам не слышит в своей глухой кабине с кондером. А мне как быть? У меня кондера нет, я с открытыми окнами сплю, чтобы свежо было.

Мы ехали вдвоем и решили на ночь не вставать на стоянке, до нее было далеко. Встали в кармане у дороги. Отец спросил, как спать будем. Койки всего две, а нас-то трое. Я сказала, что мы в степи поспим. Мошкара зажрет, возразил отец. А я ответила: ничего, мы в спальник с головой. Он покопался у себя на лежаке и дал мне светлое байковое одеяло, постелить на землю, чтобы было мягче спать.

В черной ночи мы молча брели по степи, она вся сияла в темноте. Степь мерцала и казалась морем черной ядовитой жидкости. Она казалась нефтью и вопила. Мы шли, чтобы найти хорошее место для сна.

Но не было ни одного подходящего места. И чем глубже мы продвигались в степную темноту, тем страшнее становилось от ее бездонности. Любое ровное место оказывалось испещренным твердыми пучками серых трав. Наконец мы устали идти и решили расчистить участок для нашего ночлега.

Лиза держала карманный фонарик, который то и дело гас. Свет от него упирался в маленькие степные камешки и бугорки, отчего черные тени в жухлом желтом свете становились еще более черными. Такими черными, словно их прорезали в оболочке мира.

От звезд было мало света. А фары МАЗа бросали лучи на дорогу. Наши тени были страшными и отдельными. Я опу-

стилась на колени и отбросила крупные камни. Положила тонкое байковое одеяло, а сверху постелила спальник. Мы улеглись, но лежать было тяжело – в спину впивались камни и бугры затвердевшего степного песка. Но я молчала, думая, что, если я покажу Лизе, что мне неудобно лежать, она не простит мне слабости. Лиза тоже молчала. Я не знаю, было ли ей больно лежать на этой тонкой подстилке. Мы не говорили с ней. Не о чем было говорить. Мы просто были вместе.

Мы молча лежали в черной степной ночи. Вокруг не было ничего. Только где-то вдалеке тарахтел МАЗ, отец еще не спал. Я слышала его радостное подвывание, с которым он обыкновенно умывался перед сном. Степь несла звук его голоса и несла гул идущих мимо машин. Она несла над собой мелкий стрекот кузнечиков. Что-то лопнуло рядом с моим ухом. Я повернула голову и увидела большого жука. Он был маслянисто-коричневый и твердый. Жук спешно перебирал лапками по болониевому подголовнику спальника. Лапки скользили по синему материалу, он беспомощно двигал ими, как весельная лодка, плывущая против течения. Я не могла вынести его мучений и щелчком отбросила жука в траву. Там он, жужжа, оправился от непроизвольного полета и медленно поднялся над землей, сделал круг и, дергаясь, поплыл в темноту.

Ночь стрекотала. Я лежала, вглядываясь в проколотое светом белых звезд небо. Чтобы его вместить, глаз не хватало, и тела не хватало, чтобы его вдохнуть. Небо смотрело на ме-

ня чернотой. Липкая прохладная ладонь легла мне на предплечье. Я повернула голову и вспомнила, что ночь мне приходится делить с тихой молчаливой Лизой. Она лежала с закрытыми глазами, и я видела аккуратные тонкие складочки кожи на ее опущенных веках. Лиза спокойно дышала, а потом открыла глаза и повернулась на бок, чтобы увидеть меня.

Я повернула голову и увидела ее белое, с узкими губами и носом лицо. Она спросила, почему мы молчим. И мне нечего было ответить.

Она положила руку мне на живот и неуклюже провела ладонью вниз под джинсы. Я перехватила ее руку и убрала со своего живота.

Я всегда говорила со степью. Если мне нужно было в ней помочиться, я говорила: привет, степь, я пришла пописать. Перед ночью я прошептала слова благодарности в колючий бугорок у основания трав. Этот бугорок был похож на зад большого яркого шмеля. Он принял мой шепот, и звук пропал где-то там, внутри него.

Черное ночное небо остыло, и все вокруг покрылось холодной росой. А после нее проснулись мелкие мушки, которые напали на нас вместе с ранним невыносимым солнцем. Они облепили лицо, и от них влажная кожа, за ночь выделившая блестящий жир, стала еще и теснее. Хотелось сбежать от ослепительного света степи. Но сильнее всего хотелось сбежать от собственной кожи, она была невыносима.

Я лежала разбитая, живот крутило. Светлые джинсы были испачканы бурой кровью. Ночью степь взяла свою плату за ночлег.

Я открыла глаза. Степь врывалась в меня, как неизбежная боль. Лиза спала. У ее головы белел маленький череп степного грызуна. Мы его не заметили ночью и не раздавили случайно. Лиза проснулась, и я показала ей череп. Кости мертвого животного привлекли ее внимание. Она сдула с черепа пыль и траву, большим пальцем отчистила выжженные солнцем клочки мяса и шерсти. Череп стал совсем белым, белее, чем камни и трава вокруг. Лиза положила его в свою набедренную сумку, чтобы потом нарисовать. Она поднялась и потянулась так, как будто сон в степи был глубоким и насытил ее.

Ты спрашиваешь, знал ли отец, кем мне приходится Лиза. Ну как тебе сказать, он не был глупым и бесчувственным человеком. Он видел, что между нами что-то происходит, а однажды застал нас целующимися.

Мы лежали в кухне на полу. Это было место нашего сна в отцовской квартире. Лиза подхватила мою голову плечом, и я улеглась на ее узкую грудь так, чтобы видеть ее лицо. Чтобы чувствовать запах ее рта и прикасаться щекой к крылу ее тонкого носа. Она повела головой и поцеловала меня.

В ярком солнечном свете мы лежали в трусах и майках. Ты спросишь, на что это было похоже. Это было похоже на преступление. Внутри меня стыд выжигал для себя тропу, и она все ширилась, ширилась, пока все мое тело не превратилось в тело стыда.

Мы лежали в утреннем свете, и ее подмышка пахла белевыми волосами. Так пахнет мокрая бумага. Все это было похоже на длящееся невыносимое детство, которое вдруг возникло между нами. Оно длилось и мучило меня. Мне было душно и невыносимо хотелось ее поцеловать. Голова взрывалась от давящего красного света. Трусы мокли, и теплая липкая смазка тут же остывала на ластовице, как если бы в моих трусах умерла юная волжская вобла.

Ты спрашиваешь, откуда я знаю, как умирает волжская вобла, я тебе отвечу. Мой дед был рыбак. Он был из тех рыбаков, чьего прошлого уже никто не помнит, потому что он сам ничего не говорил о своем прошлом и жил в настоящем, как любой старик. Никто не знал, кем он был в молодости, – кроме того, что его спасла Маньчжурская кампания. Всех парней отправили на Западный фронт, а деда отправили на Восточный. Там он воевал, а потом вернулся с войны. А больше никто в поселок не вернулся, кроме него и еще двух парней. Потому что их отправили на восток и это их спасло.

Я ничего не знала о его жизни, кроме того, что он был на войне. Причем я всегда думала, что он был на войне с немцами. Однажды он посадил меня, пятилетнюю, на велосипедную раму и повез в Дом ветеранов. В Доме ветеранов большой вентилятор гонял воздух и флажки на макете боевого сражения развевались от этого внутреннего ветра. Дед сидел не за столом, а где-то поодаль и слушал, как ветераны разговаривают о своих насущных делах. Когда ветераны стали недовольно материться, он шикнул на них, чтобы те не матерились при ребенке.

Макет занимал меня. Зеленый картон вместо травы, а в качестве кургана на картон приклеили вымоченную в зеленке вату. На небольшом кургане стоял флажок из красного шелка. Тот, кто его мастерил, вырезал кусочек кумача из

красивой узорной ткани шелкового платья или косынки. Вокруг кургана стояли пластмассовые танки. Боевое поле усыпано тараканьим дерьмом. Макетный мастер клеил все на ПВА, и тараканы съели клей.

Ветераны поили меня чаем, кормили песочным печеньем и ягодными пирогами. Ветераны в Доме ветеранов все были с войны с немцами. Но дед не был на войне с немцами, оттого он остался жив. Последний маньчжурский ветеран умер еще до моего рождения, и дед чувствовал себя неловко среди героев Великой Отечественной войны. Но на собрания ветеранов он ходил исправно, там решались важные общественные вопросы и выдавали ветеранские пайки. Дед не участвовал в спорах, только забирал пакеты с печеньем и коньяком и сидел в сторонке, пока вина за то, что он остался жив, жгла его изнутри.

Наигравшись, я садилась на линолеум у дедовых ног и ковыряла алюминиевые прищепки, которыми дед подбирал полы штангин. Я спросила его, почему он так делает, и он ответил, что штаны пачкаются о велосипедную цепь и бабушка потом на него сердится за это. Я снимала прищепки с его штангин и рассматривала их. Они были легкие и похожи на глупых холодных рыб. Одна прищепка была тугая, а вторая слабее. Второй я защемила нос, пока он не побелел. Приехав домой, дед цеплял прищепки за раму велосипеда, который ставил в сарай.

Дед сажал меня в мотоциклетную люльку и увозил на ры-

балку. Там мы видели мертвую жабу, от смерти раздутую до размера домашней грелки. Отца мы тоже брали с собой на рыбалку. Он был молодой тогда: у него были черные густые волосы и все зубы были там, где им положено быть. Но ты мне напомни потом, я тебе расскажу о теле отца.

Итак, отец нашел жабу, раздутую до размеров домашней грелки, поднял ее и окликнул меня. Мы брели по топям Волжской дельты. Все кругом было влажное, и резиновые сапоги вязли в травянистой жиже. Мне было интересно посмотреть на мертвую жабу. И отец поднял ее над головой. Я хотела подойти поближе, но между нами шла протока, которую мне было не перепрыгнуть. Отец посмотрел на жабу, потом на меня и, смеясь, размахнулся и забросил жабу в кусты. Ты спросишь, какая она была, и я отвечу: жаба была серая, мертвая и большая.

Дед брал лопату, и мы шли к забору, где за колодцем была влажная бесхозная земля. Там было самое червивое место, шланг все время подтекал, а тень от соседских тополей не давала просохнуть земле. Дед копал, а я, присев на корточки и заправив полу юбки между ляжками, собирала обрубки червей в маленький пластиковый пузырек от витаминов. Черви корчились, и все думали, что разрубленный надвое и натрое червь обязательно будет жить дальше. Но это неправда. Ты знаешь, что это неправда? Разрубленные черви умирают, вот и все.

Мы шли по деревянному настилу за персиковые и яблоч-

ные деревья, где рядом с южной баней было двенадцать дедовых сараев. Дед каждое утро открывал сарай. У него была специальная крепкая веревочка, на которой хранились все ключи от навесных замков. В сараях пахло солью и балыком, пахло бумагой, травой и пылью. В сараях тонкие нитки света ликовали: они тянулись из узких щелей между разошедшимися досками. Крупная серая с черными крапинками соль хранилась у деда в бочке, а в деревянном коробке он хранил палочки-распорки для выпотрошенной мертвой воблы. Все кругом пахло рыбой и остановившимся временем.

В сарае мы брали маленькую самодельную удочку для меня, большую удочку для деда и мешок сетей. У деда была большая деревянная игла, в которую он заправлял безупречно-белую капроновую нить. Этой иглой он чинил сети. Он сидел спиной к саду и лицом к черным зевам сараев на высоком чурбаке и тихо пел, починяя сеть.

Я любила деда, любила стричь в его ушах и носу длинные кучерявые пучки волос. А по вечерам мы ложились на расстеленное на полу красное атласное одеяло и смотрели «Поле чудес» и «Угадай мелодию». Дед любил смеяться над Валдисом Пельшем, которого он называл Ванькой-Встанькой. Дед меня удивлял своей нерасторопностью и жизнью, в которой все было на своих местах. Днем, после тяжелого обеда, он шел в прохладную комнату отдыхать. И тогда нельзя было шуметь в доме. Лучше всего было лежать на полу у дедовой кровати со стальными набалдашниками и слушать,

как дед сопит. Дед спал, и светлая клетчатая рубашка шевелилась на его плече. Сквозь закрытые ставни белый луч падал на его расслабленную ладонь, и было слышно, как в вишне у забора верещат две склочные ласточки.

Дед брал две удочки, сети, небольшой брезентовый мешочек с хлебом, бутылек с розовыми червями и алюминиевый ящик с рыбацкими принадлежностями. Сажал меня в люльку своего красного мотоцикла, и мы ехали до паромной переправы.

Бурая вода, растревоженная паромом, бурлила за бортом, и я смотрела в нее так, как будто из нее обязательно должно показаться что-то ценное: большая рыба или тело утопленника.

На маленьком пирсе мы сидели с дедом и ждали клева. Тихое тугое движение голодной рыбки, зацепившей кусочек червяка на крючке, тянуло леску, и тогда я подсекала и вытаскивала серую блестящую воблу или красноперого окунька. Рыба билась у меня в руках, а я ловко доставала из ее липкого вздрагивающего рта тонкий острый крючок.

Поймав рыбу, мы с дедом решали ее судьбу. Если рыба была большая, мы запускали ее в светлое исцарапанное ведро с мутной речной водой. Если же рыба была молодой, мы отпускали ее обратно в реку, чтобы она еще пожила.

К полудню вода в ведре нагревалась, и крупная вобла, уже совсем вялая, погибала от жары. Холодная с металлическим отливом рыба была вся покрыта слизью. Это была холодная

слизь, она солоновато пахла кровью и йодом.

Так пахнет стыд. Так пахнет мой стыд. У всех свой стыд, мой пахнет так: розовой рыбьей кровью, йодом и сушеными яблоками. Теперь я тебя спрошу, чем пахнет твой? В оранжевой темноте летней кухни на заправленной аккуратным зеленым покрывалом софе я показывала соседской девочке Насте, что у меня между ног. Мы были одинаковые дети. Худые, веселые, в белых трикотажных трусах. Только у меня между ног была дыра. И она постоянно текла и требовала заполнения. Она была как исцарапанное, наполненное мутной речной водой ведро. Пахла солью, и соль блестела на серых рыбьих боках. Рыба гирляндой светила в жарком тугом воздухе летней кухни. Рыбьи нутра, раздвинутые дедовыми палочками, были еще свежие и розовые, как моя детская вульва.

Настя смотрела в меня не отрывая взгляда. Я не сняла трусы до конца, просто приподняла зад, стащила трусы до колен и села, раздвинув ноги, насколько могла. Настя смотрела внутрь меня, и само пылкое чувство восторга от возможности показать себя возбуждало меня, пятилетнюю. Я так показывала себя девочкам из детского сада, и девочки тоже давали себя посмотреть. Одна из них дала потрогать себя между ног: она была розовая и кисло пахла, волнуя меня.

Закатные густые лучи, попадавшие сквозь занавески в летнюю кухню, становились твердыми нежными щупальца-

ми. Они безудержно ласкали мое тело.

Потом Настя сказала, что хочет поиграть в семью. Она приблизилась к моему лицу и всем своим телом навалилась на меня. Я смотрела в ее глаза, и ее смуглое лицо было спокойным. Таким спокойным бывает лицо человека, который долгие часы работает над тем, что делает безупречно.

Густой кислый запах был везде. Я была этим запахом, и было сладко себя им ощущать. Было жарко от ее тела. Было жарко от близости тела. Все пространство превратилось в телесную близость. И моим детским телом оказался весь мир.

Отец шел, чтобы позвать нас есть рыбный пирог. Пирог из той самой щуки, что дед, пока мы спали с утра, поднял своей сетью. Он привез ее еще живую, всю в темных обрывках водорослей и слизи. Отец шел по палым запревшим яблочкам, мимо нечаянной стопой убитых лягушек, мимо тыквенной грядки в августовском закате. Он шел по клеверу и зрелому мясистому подорожнику. Все под его ногой сжималось, а когда он поднимал ногу, расправлялось и принимало исходный вид. Расслабившись от предчувствия ночной росы, зелень шелестела и скрежетала под его стопой.

Все кругом было зеленое. Все кругом было золотое. Я была золотом. Я не слышала его шагов. Не слышала и скрипа приоткрывшейся двери. Над Настиним плечом я увидела голову отца, который сказал, что пора есть пирог. Он смотрел куда-то поверх наших голов. Настя отодвинулась от ме-

ня. Белоснежная майка, задравшаяся во время возни, опала и закрыла ее тугой детский живот.

Отец ждал нас в дверях летней кухни. Пальцами он перебирал плешивую бахромку занавески. Мы поднялись с покрывала и поправили свои белые майки, я натянула трусы. Мы пошли в сторону сада, там стоял стол, за которым все собрались, чтобы есть пирог. Отец был весел, он показал нам миску ежа, из которой тот растащил все косточки и алые раковые панцири. А потом показал и самого ежа, который пересекал дальнюю земляничную грядку.

Мы ждали ночи, чтобы послушать стрекот сверчков и стук ежовых коготков по выкрашенным масляной краской доскам крыльца. Мы ждали ночи, и мой стыд был горьким, как янтарная щучья икра.

Теперь мы лежали в кухне на полу, и подмышка Лизы пахла белесыми волосами. Я не была пятилетней девочкой, и отец не был молодым тридцатилетним мужчиной. Все было по-другому. Он был не по годам старым и серым, его твердая коричневая в молодости голова теперь была похожа на ошметок намокшей упаковочной бумаги. Симметрия его лица поплыла, а в не поднимавшемся во время улыбки уголке рта скапливалась и сохла белая слюна.

Свет был слишком большой. Он проникал в кухню сквозь прозрачный тюль и заливал собой все: газовую плиту, хилый стол, покрытый истертой клеенкой, стиральную маши-

ну. Свет опадал и на пол, на котором мы маялись от утреннего возбуждения. Пахло пыльным ковром и жирным налетом на боковой стенке холодильника.

На кончике ее носа кожа порозовела от вчерашнего солнца. Она провела тыльной стороной ладони по моим губам, и я почувствовала запах краски. Он смешался с запахом пота, пыли и жира. Время тянулось, и не хотелось вставать. Не хотелось ничего, что прервало бы эту немую возню.

Но утро шло, отец проснулся в соседней комнате и включил телевизор. Телевизор завопил и съел тишину вокруг. Свет качнулся и изменил природу и плотность.

В маленьких съемных квартирах, в которых жил отец, не было личных границ. Защелки на дверях в ванной комнате не работают, потому что двери разбухают от влаги и не закрываются до конца. Нужно иметь специальную тряпку, повязанную на ручку двери, чтобы запирать дверь, заходя помыться или сходить в туалет. В таких квартирах все живут попеременно. Чужие друг другу люди сходятся в таких домах, чтобы жить совместную вынужденную жизнь. Мой отец так сошелся с одной женщиной: не от любви, а для удобства и от безнадёги. У каждого мужика должна была быть женщина, которая ждет, готовит и стирает, а еще удовлетворяет половую потребность. Вместе они сняли однокомнатную квартиру и жили там, когда он приезжал из рейса. На некоторое время там поселилась и я. А когда приехала Лиза, то место нашлось и ей тоже. Мы жили вчетвером: незнакомые друг

другу люди и трехцветная худая кошка.

Я сказала Лизе, что отец проснулся, и попросила ее отодвинуться от меня, чтобы он не видел нашей близости. Лиза ответила, что можно еще немного полежать так, ведь он смотрит там телевизор. Но отец уже вошел в кухню. Сквозь вопли телевизора мы не слышали, как он встал с дивана и быстро прошагал по нарезанному кусками и сложенному в виде дорожки паласу.

Отец остановился в дверном проеме и смотрел на наш краткий поцелуй. Он смотрел как бы сквозь него. Как будто за нашими головами, губами, носами, волосами было нечто, притягивающее его взгляд. Я видела его блестящие глаза под нависшими веками. Одна бровь была опущена, как и неподвижный уголок рта. Я отодвинулась от Лизы и улыбнулась ему. Отец сказал, чтобы я сварила ему яйца и заварила кофе.

Я поднялась, надела лежавшие на покрытом вязаным чехлом табурете шорты. Все вокруг было холодным, и не было возможности дышать. Взглядом я показал Лизе, чтобы она собрала нашу постель. Но Лиза не понимала моего взгляда. Она лежала и снизу-вверх игриво смотрела на меня своими серыми холодными глазами. Отец ей не нравился. Отцу она была безразлична. Она просто была еще одним ртом, который хотел есть то, что мы покупали на заработанные им деньги.

Иногда отец что-то спрашивал у Лизы. О том, почему она обрилась налысо, и о том, на что живут художники. Она от-

вечала без охоты. Для нее он был работягой и дураком. Когда Лиза рисовала, он заглядывал в ее работу и, щелкнув языком, говорил, что у нее похоже получается. Отец просил нарисовать его Братана, но Лиза не рисовала на заказ. Она занималась искусством.

Мне было стыдно за Лизу перед отцом. За ее невнимательность. За то, что она не хотела приложить усилий и быть удобной и понятной взрослому человеку. Мне было стыдно за отца перед Лизой. Стыдно за его прямоту и косность, за неотесанность. Он был похож на старого, изъеденного болезнями и клещами енота. Он плохо умел рассказать, что чувствует.

Мне всегда было стыдно за отца.

Когда я говорю «чужие люди», я ведь совсем не обманываю тебя. Отец был мне совершенно чужим человеком, чужим по-настоящему. Он был один, как валун на дороге. Ты можешь валун увидеть. Можешь его погладить. Но сказать ему ничего не можешь, а если скажешь, он тебя услышит, но не ответит.

Мир кругом безответен, я к этому привыкла. Мир – это каменный сад. Отдельность отца разочаровала меня. Он меня разочаровал. Но при этом очаровал своей отдельностью.

Это было тяжелое лето 2010 года. Он встретил меня на вокзальной площади во Владимире. Я его сразу узнала. Последний раз я видела его в 2000 году на вокзале в Астрахани. Он пришел за минуту до отправления нашего поезда, хотя обещал отвезти нас с матерью на вокзал. Мать нервно курила у вагона, когда он шел к ней. Я видела его из окна поезда. Светило едкое астраханское солнце: оно прижимало к земле все живое, а мертвое оно делало еще более мертвым. Мать стояла в этом солнце. Ее кожа золотилась от загара. Отец подошел на полусогнутых ногах, блаженно улыбаясь. Он принес сверток каких-то нелепых сладостей и вязанку сушеной воблы.

Он был весь разрушен. Его тело жило своей медленной жизнью, и лицо как будто спало и одновременно проснулось

в другом, невидимом нам мире. То лето было его не первым героиновым летом. Я не знаю, когда он совсем перестал колоться, с того дня не видела его десять лет. Возможно, он перестал принимать героин, когда его дворовый друг, с которым он его покупал и ставил, умер страшной смертью. Никто мне не говорил, от чего он умер. Просто умер, вот и все.

Отец принимал наркотики всегда. Когда матери не было дома, он закрывал дверь на полотенце, чтобы четырехлетняя я не чувствовала запах химки – вываренной на растворителе травы конопли. Но я все равно его чувствовала, я смотрела кассеты на ворованном видеке. У меня была кассета про двух псов и сиамскую кошку, которые говорили человеческими голосами. Обкуренного отца и его друзей это смешило. Это смешило и меня, я хотела угодить взрослым своей проницательностью.

Ранним мутным утром отец стоял на площади Владимирского вокзала. Все кругом было серое. Горели леса, густой тяжелый дым стоял в безветрии. Отец стоял в полурасстегнутой рубашке с коротким рукавом, хлопковых шароварах и черных шлепках на босу ногу. В руке он держал завязанный узлом небольшой пластиковый пакет. Его темный лоб бликовал на еле пробивающемся сквозь дым солнце.

Я должна рассказать о теле отца, я не забываю, просто еще не время.

Я подошла к нему, он обнял меня скупыми руками. Он

посмотрел на меня так, как смотрят на своих взрослых детей родители, которые не знали и не видели их, пока те росли. Он двумя руками взял меня за плечи и, постаравшись быть приветливым, удивился тому, какая я большая. Мне было двадцать лет. Я не была *большой*, я была взрослой.

Он спросил меня, голодна ли я. Мы пошли в привокзальное кафе и заказали яичницу с жидким желтком, помидорный салат и два стаканчика кофе. Коричневые жирные гранулы растворимого кофе налипли на стенку пластикового стаканчика, и я все никак не могла отскрести их нелепой белой палочкой. Это было поводом для молчания. Я не знала, что сказать отцу, и он молча дул на кофе, чтобы остудить его. Он всегда остужал горячие напитки, чтобы пить их еле теплыми. Я узнала в этом себя саму.

Наша схожесть с ним была очевидна. Я была неуклюжей, немного косолапой двадцатилетней девушкой. Его походка была такой же комковатой. Я смотрела в его глаза, и он смотрел на меня моими постаревшими и выжженными временем глазами. Его рот был как мой, только без зубов. Он не перестал быть моим отцом за эти десять лет, что мы не видели друг друга. Он имел свое отдельное бытие долго, но материал, из которого он состоял, был идентичен моему. Сегодня утром я посмотрела на себя в зеркало и увидела, как мои веки постепенно стали опускаться. Они похожи на натруженную парусину. Мои впалые глаза стали еще ближе к тем глазам, что я увидела тогда в привокзальном кафе во Владими-

ре.

Когда мы допили кофе, я спросила, где его машина, и он по-стариковски скуксил, сказав, что большие машины не пускают в город. Братан стоит на специальной дальнобойной стоянке за объездной дорогой. Он сказал, что нам нужно купить фотоаппарат. Все кругом было затянуто сухим дымом. Центральная Россия истлевала и отдавала воздуху некрасивую удушливую завесу.

Мы вышли из кафе и закурили. Я не понимала, зачем нам фотоаппарат, но мне было неудобно спросить. Отец поймал тачку, и мы поехали в «Эльдорадо». Странное дело, я все время об этом думаю и все не могу об этом надуматься. В мире есть много мест, и они всегда там, где мы их оставляем. Там может все измениться, сломаться, но я тебе точно говорю – место остается. Когда мы оттуда уходим, оно остается, а когда приходим, оно все еще там. Все может измениться так, что ты не сможешь попасть в это место – например, им кто-то завладеет и огородит. Но еще страшнее то, что ты не сможешь в это место вернуться, потому что умрешь. А смерть, ты же знаешь, – это когда все остается, кроме тебя. И оно длится в будущее без боли. С великим безразличием места.

Супермаркет электротехники «Эльдорадо» до сих пор там, где он был. Он такой, ну ты знаешь, немного тусклый супермаркет дешевых вещей. О том, что он по-прежнему там, я узнала, когда весной мы с моей женой были во Владимире и ждали, пока откроется пиццерия. Было мартовское утро

и капель. На припеке было жарко, а в тени еще холодно. Я смотрела, как на асфальте ширится черная мокрая лужа от тающего снега. Все сверкало, была весна. Я подняла голову, чтобы осмотреться, и увидела этот жухлый супермаркет. Тот самый супермаркет, где мы с отцом купили маленький черный Olimpus за две тысячи пятьсот рублей и карту памяти к нему. Меня тогда удивило, что карта памяти стоит как половина самого фотоаппарата.

Отец молча отдал мне пакет с фотоаппаратом и посмотрел на мою одежду. Я стояла в плотных джинсах и кроссовках. Так не пойдет, сказал отец, на улице жара, а чем ближе к Астрахани, тем сильнее палит солнце. Он снова поймал тачку, и мы поехали на рынок.

Я приехала к отцу, потому что мне нужно было его увидеть. Мать говорила, что отец *распиздяй*, и попрекала меня тем, что я на него похожа. Я всегда думала, что отец больше похож не на отца, а на брата. Но отец был чужим мужчиной, с которым я должна была сесть на фуру и поехать: не потому, что я так хотела, а потому, что он так решил. Теперь я все делала так, как он решил: я должна была вставить в фотоаппарат карту памяти и сфотографировать его у памятника Андрею Рублеву. После этого я сама должна была встать у памятника Рублеву и улыбаться, пока отец делал снимок.

На этой фотографии я стою в коротких белых шортах с зеленым гавайским принтом. Эти шорты купил мне отец на владимирском рынке. Он долго шел вдоль прилавков, зава-

ленных дешевым, ядовито пахнущим трикотажем, пока наконец не остановился напротив одного из киосков. Я остановилась рядом с ним, к нам тут же подошла жилистая продавщица в розовой кепке с мелкими блеклыми стразами, она по велению отца взяла деревянную палку с крюком и достала сверху пачку разноцветных шортов. Все шорты казались мне пошлыми, но отец настоял на том, чтобы я обязательно выбрала какие-нибудь из предложенных. На фоне розовых, фиолетовых и сине-оранжевых расцветок бело-зеленые показались мне более сдержанными, и я выбрала их. Отец достал из нагрудного кармана пачку мягких от пота купюр и заплатил двести пятьдесят рублей.

Я тут же должна была снять плотные джинсы и надеть свои новые шорты. Отец настаивал, и я сделала это за деревянным прилавком, заваленным футболками с Путиным и наивными приколами про пиво и русский характер. Отец увидел футболку с небрежно нанесенным принтом, на котором Путин оседлал медведя и с винтовкой наперевес двигался прямо на нас по бурелому. Футболка позабавила отца. Он ткнул в нее своим крепким пальцем, и я увидела, что каждый его ноготь оторочен темной линией вьевшегося мазута. Весь его кожный рельеф был забит мазутом. Его одежда пахла соляжкой, а на рубаше и шортах виднелись белые шершавые разводы. Это была соль от пота. Тело отца было как тусклый солончак: тугое, покрытое шрамами, солью и мазутом. Оно состарилось преждевременно. Отец захохотал от

прочитанной им шутки на одной из футболок – и я увидела, как у впалых глаз образовались глубокие рытвины морщин. Рот его был темный, у отца практически не было зубов.

Стоя на истоптанной картонке, я увидела, что отец необратимо старей. Он не был похож на сорокатрехлетнего мужчину, он был похож на семидесятилетнего старика. В нем все было тяжелое. Он был похож на убитое молнией старое дерево, лежащее поперек дороги. Мой взгляд тянулся к нему и одновременно старался его избежать.

В узком проходе между рыночным прилавком и пластиковым стулом я чувствовала, как от жары и дыма все тело отекает и стало липким. Надев шорты, я почувствовала себя неприлично голой среди синтетических гор дешевого тряпья. Отец смеялся, он велел мне идти за ним, и я пошла, положив в пакет из «Эльдорадо» свои джинсы и чувствуя, как влажные ляжки трутся друг об друга.

Помню тусклую бесконечную степь, а еще влажную дельту Волги и мутный желтый Бахтемир. Вода Бахтемира знаешь какая была? Она была плотная, как ткань от взбитого со дна ила. Паромы шли, лодки шли. Рыба шла и била по дну. Тихий, желтый Бахтемир шел в Каспийское море.

Я вошла в реку у пирса, зажала нос пальцами, закрыла глаза и легла на эту желтую воду. Знаешь, что я услышала? Я услышала, как по илистому дну вода идет. Вода была больше, чем все, и скрежетала, как старая неистовая цепь. Мне стало страшно. Я встала, осколок черной ракушки царапнул мне ступню. От воды, попавшей в глаза, все стало мутным, как перламутровое нутро мидии. Солнце билось в воду, но вода забирала весь свет и тепло. Дно было холодным. На выцветшие волосы на руках налипли бежевые песчинки и темные речные травы, откуда-то повеяло тухлыми водорослями.

Я больше не знаю ничего о тех краях. Знаю только, что они плодородны. Черная медведка губит куст «бычьего сердца». Ночью в прохладной росе лопается сладкий абрикос от собственного избытка. Все набухает в этой влаге. Ранка от ракушки долго заживала и гноилась. Волосы нужно было туго заплетать в косу, чтобы они не зацепились за корягу и в них не запутались водоросли.

Однажды дед сетью притянул куст чилимов и дал мне коричневых колючих орехов. Мы их не ели, дед приносил их, как маленькие сувениры с рыбалки. Влажный чилим блестел, как голова дикого жука, а подсыхая, становился как плотная кожа. Тоскливо пах илом и кололся. Ракушки были ломкие. После схода воды берег оголился, и весь он был в белых, сереньких и голубых глазочках мертвых раковин. Я шла по песку и собирала их – конусовидные и гребешки – в один плотный целлофановый пакет. Собрав, зацепила за пояс свой мешок, села к деду на мотоцикл, обняла его за талию и услышала, как мои ракушки хрустят между нами. Вернулись домой, высыпали осколки моих ракушек на пол курятника, чтобы рыжие и белые несушки поклевали их. Осколки были голубые и нежные, как тонкий лунный камень, но их голубизна быстро утонула в густом птичьем помете.

Больше я и не помню ничего. Написала своему знакомому из книжного магазина «Фаланстер», чтобы он посмотрел, что у них там есть про Астрахань. Он для меня нашел справочник «Устная речь астраханцев: лексика, обороты речи, пословицы, тексты». Она настолько старая, что продавцы на корешок наклеили бумажный скотч и синей ручкой написали заголовок книги, а когда мне продавали, извинились за такой вид. Но мне главное буквы.

Отец тоже говорил, что ему главное, чтобы буквы были перед глазами. Каждое утро он тормозил фуру у газетного

киоска и покупал себе свежие газеты: «Аргументы и факты», «Экспресс-газету» и обязательно местную газету, например «Волгоградскую правду».

Газеты он читал после обеда, лежа в спальнике и пожевывая замусоленную спичку. Он читал их во время обеда, раскрыв на руле, изучая страницу за страницей. Я не знаю, что он там понимал, ведь во время чтения он одновременно ел и слушал радио или кассету с песнями Михаила Круга. За время работы дальнобойщиком он практически потерял слух на левом ухе, поэтому радио он слушал на полной мощности, чтобы слышать каждое слово и чтобы усмехнуться каждой остроте радиоведущих.

Я рассматривала отца, совершенно чужого для меня человека. Смотрела, как он ел и спал, пыталась вместить в себя его образ, чтобы понять, кто он и как так вышло, что он мой отец. Но у меня ничего не получалось, отец не вмещался, от него становилось тяжело и непонятно внутри.

Как бывший потребитель героина, отец устраивал себе каникулы. В такие дни он обычно никуда не ходил, а просто закрывался в квартире или садился в компании других дальнобойщиков и быстро напивался. Те знали его привычку и привозили его домой на его же серой «девятке», заносили в квартиру втроем. В эти моменты его маленькое крепкое тело становилось тяжелым, и три здоровых мужика с горем пополам поднимали отца с топчана, грузили на заднее сиденье и

караваном из трех машин везли домой. У подъезда они выгружали его и втроем вносили на пятый этаж. Дома немного протрезвевший отец бродил по квартире, как медведь-шатун. Иногда он падал, спотыкаясь о ковер, громко матерился и вставал. Набродившись, отец засыпал и всю ночь кричал во сне. Я не знаю, что ему снилось, он вскрикивал и скулил, как старая измученная собака.

Наутро он просыпался абсолютно свежим. Как будто внутри него была черная пасть, которая вчера получила то, что ей было нужно, и закрывалась, не оставив ни шва. Утром отец спокойно шел за пивом, и весь день проводил лежа на диване у телевизора. На обед он ел жирный суп, запивая его кислым кефиром. На диване он дремал, одной рукой покручивая волосы у пупка, а другой охраняя пульт от телевизора. Телевизор все время орал, и я несколько раз, когда отец начинал храпеть, пыталась подкрутить громкость. Как только громкость снижалась, он открывал глаза и, повернувшись здоровым ухом, просил меня не выключать телик.

Вечером, когда перегар от водки и утреннего опохмела рассасывался, отец садился на маленькую машину, так он называл свою «девятку», и ехал провожать день на набережную Волги. Он шел сквозь разодетую толпу так, как будто был рыбой, плывущей в камышах. Толпа была неживой и непонятной ему, но он знал, как ее преодолеть. Подойдя к поющим фонтанам, он долго смотрел на фиолетовую подсветку и, кряхтя, пританцовывал в такт пластиковой музыке. Фон-

тан его не удивлял, но радовал своей веселостью.

Я все думала, для кого администрация города ставит эти бутафорские украшения: скудные музыкальные фонтаны и небольшие скульптуры дам с собачками и толстяков на скамейках с вытертыми до блеска животами. В Нижнем Новгороде на Покровке стоит скульптура козы-дерезы, ее отшлифованная спина светится на солнце. Каждый норовит посадить на нее ребенка или забраться сам. Фонтан по кругу воспроизводил аранжировку песни «It's a beautiful life» Ace Of Base, но в шуме падающей воды и разговорах был слышен только писк высоких нот. Фонтан был создан для развлечения и, хотя был несуразным, он одним своим наличием обязывал чувствовать радость. И отец веселился. Люди кругом веселились и фотографировали поющий фонтан на смартфоны.

Отец спросил меня, взяла ли я фотоаппарат, и я ответила, что не взяла. Эх, ну ты даешь, разочарованно вздохнул отец. Так бы сфотографировали фонтан. Я достала из кармана небольшую кнопочную Nokia с фотоаппаратом и сказала, что могу сфотографировать его на телефон, а потом перенести снимок в компьютер или напечатать, если нужно. Отец обрадовался и тут же встал у фонтана. Я открыла камеру в телефоне и посмотрела на экран. В черной синеве астраханской ночи сияло фиолетовое пятно. Сбоку от фиолетовой вспышки можно было разглядеть очертание отцовской серой рубашки и силуэт его круглой коричневой головы. Блик от

диодных фонарей на его лбу тоже было видно. Но сам снимок не получался, в нем не было радости. Я зафиксировала картинку и подошла к отцу. Ничего не получается, сказала я, слишком темно, и камера в телефоне очень слабая. Отец посмотрел на снимок и тут же рассмеялся от его нелепости. В его смехе я услышала разочарование от упущенной возможности. Ну ничего, сказал отец, в следующий раз не забудь, будем фотографироваться у фонтана.

У палатки для стрельбы он заплатил мальчишке столик и взял у него винтовку. Покряхтев, он прицелился и выбил три банки из пяти. Тупые металлические пульки стукнули о бока пустых банок, и отец с ликованием поднял кулаки к небу и, потрясая ими, завопил. Мальчишка у тира оценил отцовскую стрельбу и выдал ему маленький брелок с Микки-Маусом. Отец покрутил брелок в руках и отдал его мне. Я со стыдом и жалостью приняла его трофей. Он не умел обращаться со мной как со взрослой, в его понимании я была маленькой девочкой. В палатке с мороженым он купил мне пломбир в вафельном стаканчике и две бутылки пива – себе и мне. Я смотрела на него и пыталась понять, как он – тот, кто он есть, – чувствует мое присутствие рядом. Волга шла медленно, под вечер она стала эmaleвая и глухая. Я прицепила брелок к ключам, и из него тут же полез поролон. Мне стало еще тяжелее. Все, что делал отец, все, что он говорил и добывал, было как этот жалкий синтетический брелок. Мы молча допили пиво, и отец позвонил своему другу Коляну,

чтобы тот увез нас домой на «девятке».

Отец любил рассказывать, как в самом начале его дальнотбойной работы он несколько раз ездил на Питер. Там он успел съездить в Петергоф и сфотографироваться с актрисой, изображавшей придворную даму, и высоким актером с искусственными усами как у Петра I. На этой фотографии он стоит на фоне фонтана и одной рукой касается кончика белоснежной атласной перчатки на руке дамы, а другой – придерживает рукоять трости Петра Великого. На отце чистая выглаженная футболка песочного цвета и свежие льняные брюки, из нагрудного кармана на замочке выглядывает пачка красного BOND, по фактуре кармана понятно, что вместе с сигаретами отец хранит скрученную пачку денег. Это все, что у него есть: чужая фура на стоянке у объездного шоссе и пачка денег на рейс. Видно, как одежда хранит следы заломов. Он вез этот комплект в шкафчике под спальником из Астрахани в Петербург, чтобы надеть его в выходной и посмотреть нарядный дворец. Для фото он улыбается, и я вижу на его лице гордость. Все вокруг него драгоценное и торжественное. Отцовское тело, врезанное в этот контекст, выглядит скорее как полетка. Он – работник сцены, скоро занавес поднимут и напудренная дама со своим спутником будут жить жизнью придворной элиты, чтобы другие смотрели на красоту и чувствовали гордость за причастность к этой роскоши. Отец сказал, что заплатил сто рублей, чтобы получить это фото, и накинул полтинник сверху, чтобы по-

лучить дубликат. Обе фотографии он подарил своей матери, моей бабушке, на память.

Отец сказал, что раньше имел привычку устраивать каникулы во время долгих простоев в степи. Такие бывали и при мне. За трубой под Капустиным Яром мы стояли почти неделю, а на Рыбинском водохранилище остались на три дня. Отец рассказывал, что ходит в рейсы один, чтобы сберечь больше денег. На партнера нужно тратить – кормить его, платить ему, а толку от него только то, что он может охранять фуру, пока спишь.

Лет пять назад отец напился до полусмерти, пока стоял в очереди на догрузку под Волгоградом. Напился и проснулся на обочине. Ни фуры, ни документов. В одних шортах и полиуретановых тапках. Фура никогда не была его, и, чтобы ее выкупить, нужно было пятьсот тысяч, а где их взять, если тягач одной солярки жрет на пятнадцать тысяч в одну сторону. А на волгоградской дороге вечно теряешь подвеску.

Он пошел на стоянку. Там поговорил с мужиками. Они подбросили его до соседней стоянки. Фура – не иголка в стоге сена, если фуру украли, ты найдешь ее при любых обстоятельствах. Фура большая, медленная, и дорог, по которым ее можно вести, не так много. К полудню отец нашел стоянку, на которой стоял его МАЗ. Груз был на месте, все было на месте, только отец пока всем этим не владел. Он нашел людей, которые украли его машину, и поговорил с ними. Что-

то помогло отцу вернуть машину и груз. Наверное, блатное прошлое, язык которого он помнил хорошо. Больше он не пил в дороге, если шел один, только дома и после выгрузки.

*Разве знает земля письмена зерен, которые
бросает в нее пахарь?*

Велимир Хлебников

*И когда у дома полисмен,
Скот мрет, молоко киснет...*
«Каспийский груз»

Отец любил песни Михаила Круга. Он любил их, как некоторые женщины любят аферистов. Раздетая до нитки женщина из последних сил будет отрицать, что ее обманули. Она будет верить в подаренный ей миф и надеяться на счастливый исход. Отец жил по принципам, предложенным Кругом, еще и потому, что они полностью совпадали с его представлениями о том, как устроен мир.

Хлебников писал: *«Говорят, что творцами песен труда могут быть лишь люди, работающие у станка. Так ли это? Не есть ли природа песни в уходе от себя, от своей бытовой оси? Песня ни есть ли бегство от себя?.. Без бегства от себя не будет пространства для бегу. Вдохновение всегда изменяло происхождению певца. Средневековые рыцари воспевают диких пастухов, лорд Байрон – морских разбойников, сын царя Будда прославляет нищету. Напротив, судившийся за кражу Шекспир говорит языком королей, так же*

как и сын скромного мещанина Гете, и их творчество посвящено придворной жизни. Никогда не знавшие войны тундры Печорского края хранят былины о Владимире и его богатырях, давно забытые на Днепре». Продолжая его мысль, скажу: Михаил Круг, Владимир Высоцкий и Александр Розенбаум не сидели в тюрьме, Шило из «Кровостока» не был головорезом и киллером, а парни из группы «Каспийский груз» не убивали людей и не торговали наркотиками.

Природа времени такова, что оно заканчивается, а люди остаются жить сами по себе, заброшенные в будущее. Так жила моя мать после увольнения. Она двадцать пять лет работала на заводе и, переехав в другой город, оказалась беспомощной и ненужной этому времени и месту. Завод отработал как материал и ее, и ее молодость, не научив жить в будущем, и она сама, будучи замороженной своей молодостью и силой, как бы осталась там, в прошлом, ненужная сама себе.

Приведу другой пример. Помнишь картину Франциско Гойи «Сатурн, пожирающий своего сына»? Ее часто сравнивают с одноименной картиной Рубенса, но Сатурн Рубенса спокоен, он вдумчиво впивается в живот младенца. Так едят пожилые люди, неторопливо и сосредоточенно. Сатурн Гойи безумен, видишь, какие у него глаза? Они блестят в темноте. Он начинает с головы, и мы видим, как в его руке повисло обезглавленное тело. Это и есть историческая эпоха. Она ест тебя с головы, потому что по лицу можно узнать челове-

ка. Сатурн глотает голову, чтобы все индивидуальные черты стерлись. Время стирает различия. Даже половые, на картине Гойи его сын болтается к нам спиной, мы видим белое полнокровное тело, но не знаем, принадлежит оно мужчине или женщине. А Сатурн, долговязый обезумевший старик, больше похож на лешего или демона, он выступает из темноты. Когда я смотрю на эту картину, я слышу хруст костей и звук рвущегося мяса. Еще я слышу страшный вой. Сатурн издает звук, он стенает, как привидение из старого замка, и скулит как больной пес, он рычит и чавкает. Когда я смотрю на эту картину, он выступает на меня, и его живописное тело становится реальным и осязаемым. Я знаю, что это я болтаюсь в его жилистых исковерканных руках.

В школе на уроке биологии мы играли в мультфильм. На уголке тетрадного листа я рисовала схематичную фигуру человека, на следующей странице человек менял позу. Можно было закрутить угол листа на карандаш и двигать им, меняя позы своего героя. Те, кто лучше умели рисовать, изображали не две и не три позиции, а целый меняющийся мир. В этом мире бежала собака, рос цветок, человек ложился спать, разбивалась бутылка. Движение, развитие и разрушение зависели от скорости перелистывания, иногда страницы прилипали одна к другой и фазы пропадали, и это уже было похоже на эффект монтажа. Можно было медленно растить цветок, причем такое замедление соответствовало идее цветка: никто не может видеть, как растет цветок, он растет незамет-

но. Будучи пионером, отец посадил аллею тополей за нашим домом. Саженьцы выросли в высокие деревья и по утрам давали много тени. Но я никогда не понимала, как растет дерево, если никто не может заметить его рост. Может быть, рост незаметен оттого, что дерево на ветру, солнце и жаре все время шевелит ветками и листьями, отвлекая человеческий глаз от собственного роста? В жизни мы видим, как все, что падает, падает быстро, а разрушается еще незаметнее. В этой игре можно было замедлить то, что происходит слишком быстро: упавшая бутылка могла медленно распадаться на осколки. В этой игре в мультфильм можно было сделать доступным и обратимым любой процесс.

Но я хочу сказать тебе вот о чем. Рука, которая управляет скоростью смены фаз, движется быстро, и с каждым разом она ускоряется. Так работает время. В восьмидесятых годах зревшая в советских лагерях система понятий и иерархий выплеснулась за ее пределы и стала выполнять роль ослабевшей власти. Когда что-то происходит и ты в этом происходящем занимаешь не самое последнее место, кажется, что это навсегда. Так устроен человек, у которого есть хоть немного власти. Не важно, каким путем эта власть досталась. Но время несется, и, похоже, оно ускоряется с каждым своим шагом. Блатные царили недолго. На их место пришли новые преступники. Пасть времени замкнулась, кто-то остался лежать в нарядных гробах на кладбищах. Кто-то выпрыгнул и начал жить в будущем. Мой отец выскочил. Он уехал из

Усть-Илимска в 1999 году, потому что на него хотели повесить уголовное дело. Я не знаю, правда ли это, но мать так сказала: он уснул в какой-то квартире во время пьянки, а проснулся в участке, где его пытали. Из той квартиры вынесли все, что можно было вынести, и он с одним пакетом, в котором лежала зубная щетка и сменное белье, сбежал в Астрахань. О том, как отец попал в Усть-Илимск, я тебе расскажу, как подвернется повод.

Но сейчас про блатных.

В бандитской иерархии он занимал место мужика. Таких, как он, было много: таксисты, работяги, те, кто сидел недолго и не мыслил блатной образ жизни как основной сценарий. У отца была машина, она его кормила и была смыслом жизни. Водить его учил дед, в Трудфронте он посадил отца за руль трактора и показал, как он заводится. Лет в двенадцать на каникулах отец угнал у деда трактор и его выпороли кожаным ремнем со звездой. В армии отец служил в Монголии, там он водил самосвал и ездил через пустыню по триста километров, чтобы добыть самогон во время сухого закона. За это отца ценили. Он был человеком коллектива, во всем коллективу угождал, и доставка самогона не была исключением. Он умел договариваться и умел выживать. Мать говорила, что в Усть-Илимске его знает каждая собака. Это так, нас знали все: с нами здоровались на улице, а в очередях замолкали, когда мать приходила стоять за дефицитны-

ми неваляшками. Помнишь неваляшек? У меня было две, маленькая и большая, алая и голубая, когда они качались, издавали странный металлический звук. Такой звук должен был забавлять и веселить.

Отец был мужиком в блатной иерархии, по крайней мере так принято было считать. Но я уже сама не верю в это. После освобождения из тюрьмы он вернулся домой, но дома не ночевал. Мать говорила, что под утро он приходил, чтобы оставить деньги и вещи. На балконе и в прихожей нашей квартиры хранились ящики с водкой и сигаретами. На трельяже он оставлял пачки денег, правда, тратить их было особенно не на что: за всем нужно было стоять в очередях. Когда в город стали завозить видеомагнитофоны и импортные телевизоры, отец принес в старом покрывале цветной телевизор LG. Потом появился видик и приставка Dendy.

У меня была игрушечная коляска для куклы и красивая миниатюрная дубленка. Соседские девочки не любили меня за это и называли богачкой. А мне было стыдно за то, что у меня что-то есть, а у других нет. Их злость, возможно, была не только их злостью. Это была злость их родителей на то, кем был мой отец. Их родители были честными врачами и заводчанами. Мой отец был преступником, в нашем праздном доме не переводились деньги, и это было несправедливо. Соседские девочки подошли ко мне на улице и попросили заглянуть в мою коляску. В ней лежала нарядная кукла. Они переглянулись и ласково попросили покатать куклу Машу,

а я, рассчитывая на их дружбу, передала поручень коляски одной из них. Тогда девочки, хохоча как малолетние фурии, покатали коляску вниз по дороге. На выбоинах в асфальте белые каучуковые колеса подпрыгивали, и было слышно, как кукла Маша скачет внутри. Они бежали в тихом светлом дне по дороге вниз и хохотали. Ощувив разочарование, я села на скамью под тополем, мне не было жалко для них своих игрушек. Мне было жалко куклу Машу, пострадавшую от их ненависти.

Зимой 1994 года мать пришла за мной в сад. Она не торопила меня и не была встревожена, все делала, как и прежде, спокойно и строго. Подала мне колготки и рейтузы, оправила задравшуюся фланелевую юбку, повязала косынку и туго затянула шапку из кроличьего пуха перед тем, как мы вышли в мороз. У ворот детского сада нас ждал милицейский «бобик». Мать сказала, чтобы я ничего не говорила ментам, потому что они хотят посадить отца. Из «бобика» вышел толстый мент, он подхватил меня и посадил в багажник, туда же забралась и мать. В перегородке между салоном и арестантским отсеком была небольшая решетка, через которую толстый мент подмигнул мне и спросил, не боюсь ли я его. Не боюсь, ответила я. Мать усадила меня на скамеечку, обитую кожзамом, и мы поехали домой. Сквозь решетку в двери я видела верхушки покрытых инеем тополей. Они сверкали, как драгоценные камни в черной ночи. Все вокруг было ка-

женное, и на фоне белоснежных сугробов скупость этой казенщины выделялась и жгла глаза.

У подъезда нас уже ждали, чтобы провести обыск. Мать говорила потом, что искали они наркотики, деньги и золото. Техника их мало интересовала, она тогда у всех была ворованная и без документов. Меня усадили на кресло у журнального столика, и мать сказала, чтобы я сама сняла шубу и рейтузы. Она же ходила по пятам за толстым ментом и комментировала его действия. Мать не боялась и не тревожилась. Может быть, ей не было страшно, потому что она знала, что отец обязательно выкрутится. Она выглядела спокойной еще и оттого, что злилась на отца за то, что он не додумался проверить подкладку ворованной шапки, которую приметил на рынке бывшая владелица.

Красивая новая формовка из норки очень шла матери. Она носила ее с блестящим люрексковым шарфиком. Но в тот день, выбирая у прилавка говяжий язык, она почувствовала какую-то суету за спиной. Обернувшись, она увидела растрепанную женщину в дорогой шубе, которая одной рукой держала за рукав толстого милиционера, а другой тыкала указательным пальцем в материну шапку. Продавщица мясного отдела обтерла о сухую тряпку нож и передала ее милиционеру. Милиционер попросил шапку, аккуратно зацепил кончиком ножа шелковую подкладку, и под ней вскрылась надпись на коже: номер телефона, адрес и имя владелицы. Тут же у подкладки заметили две прорехи по бокам: когда-то к

шапке была пришита резинка на случай, если шапку будут снимать на бегу. Ее и сняли на бегу, когда владелица шла вечером с дня рождения. За шапку пришлось потягаться, и вор пнул женщину, она схватилась за живот, а вор убежал. Мать носила шапку без резинки, потому что знала, что ее не снимут. Все воры знали мать в лицо, и никто не смел на нее покушаться.

Она была зла на отца за его недалёковидность. Злило ее и то, что менты ходили в обуви по свежевыванному полу: талая вода с их ботинок натекала попеременно с песком и уличным сором. Мать ходила за толстым ментом и ногой подгоняла половую тряпку, чтобы грязь не разносилась дальше. Толстый мент по-хозяйски залез в шкаф с моими игрушками и вытряхнул короб с кубиками на пол. Он провел рукой из глубины шкафа, выдвинув неваляшек и пластиковую пирамидку. Из соседнего ящика он вытряхнул чистое выглаженное постельное бельё и бросил его на диван. В туалете он поднял крышку бачка и, ничего там не обнаружив, со злостью швырнул ее обратно, по фаянсовой крышке побежала трещина, и мать собрала тонкие осколки, похожие на раковины маленьких речных моллюсков.

С самого раннего детства меня учили не разговаривать с милиционерами. Отец учил их ненавидеть, но в лицо мусорами не называть, а мать учила презирать. Принято считать, что, когда полицейский кричит на улице «Эй!» и тебе хочет-

ся обернуться, это значит, что ты живешь в полицейском государстве. В моем случае все было немного иначе. Я их боялась, потому что была дочерью своего отца, они вытряхивали мои игрушки и вели себя как хозяева в нашей квартире. Конечно, их действия не были беспочвенными, таким образом они восстанавливали порядок. Но язык, на котором восстанавливался порядок, мало отличался от языка, который использовали преступники. Думаю, ты и без меня это знаешь, здесь я тебе ничего нового не расскажу. Когда я вижу полицейского в метро или на улице, внутри меня до сих пор все холодеет. Это старый холод, и я себя без него не представляю. Он разливается, когда звонят в мою дверь или я слышу, как кто-то разговаривает на лестничной клетке. Мне все время кажется, что за мной придут.

В тот день меня могли и не забрать из сада. Мать с утра отвела меня и легла поспать еще пару часов. Потом она вымыла полы, протерла пыль и почистила унитаз. Накрасила губы коричневой помадой, нанесла жирную ленинградскую тушь из картонной коробочки и присыпала веки перламутровыми тенями. Перед выходом она обулась и села на кухне, чтобы покурить. Брелок от молнии на сапоге сломался, скрепки или булавки под рукой не оказалось, и она тут же, с сигаретой во рту, достала из выдвижного ящика вилку и зубчиком подцепила бегунок, чтобы застегнуть высокий кожаный сапог.

Мать вытряхнула пепельницу и посмотрела на часы, мусорщик приедет в шесть. До его приезда она успеет сбежать на рынок и в ЖЭК. Она надела свою дубленку в пол, нарядный шарфик и новую шапку. Проверила почтовый ящик, в котором нашла извещение, что из Трудфронта пришла посылка. Дед присылал нам воблу, сухофрукты и острый южный чеснок в сшитом из старой простыни мешочке. Положила извещение в кошелек и вышла из подъезда.

Был крепкий декабрь, все вокруг было белое, из-за Ангары и черной линии леса серым столбом поднимался дым лесоперерабатывающего завода. Это был материн завод, и это был ее выходной день, который она тратила на хозяйственные дела. Мать любила хозяйничать с деловым высокомерием, мне нравилось наблюдать за тем, как она внимательно вымывает грязь из желобов в плинтусах, а потом чистым сухим запястьем вытирает пот со лба. Был канун Нового года, и кроме обычных продуктов нужно было купить мандарины, кости на холодец и язык для заливного. Еще с вечера она составила список продуктов и записала его жирной синей ручкой на внутренней стороне картонки от красного LM.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.